

“РАДИКАЛЬНЫЙ КОНВЕНЦИОНАЛИЗМ” К.АЙДУКЕВИЧА И ЕГО МЕСТО В ДИСКУССИЯХ О НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

К.Айдукевич (1890–1963) — выдающийся польский философ и логик, один из главных представителей основанной К.Твардовским “Львовско–Варшавской школы”, столетие которой недавно отмечалось мировым философским сообществом. На русский язык переведены многие, ставшие классикой XX века, философские, логические и математические работы корифеев этой блестящей плеяды. Среди них книги и статьи А.Тарского, Т.Котарбиньского, Я.Лукасеви́ча, М.Оссовской, В.Татаркевича, А.Мостовского, Е.Слупецкого, готовятся к изданию переводы избранных трудов К.Твардовского. По странному стечению обстоятельств до сих пор не переводились работы К.Айдукевича, хотя они не только оказали серьезное влияние на философию прошедших десятилетий, но и не потеряли своей актуальности в контексте современных философских и методологических дискуссий. По оценке Я.Воленьского, “эпистемологические труды Айдукевича, в особенности по семантической эпистемологии, являются одними из наиболее заметных (по меньшей мере) в истории аналитической мысли XX века. Они представляют собой высшее (помимо логики) философское достижение всей Львовско–Варшавской школы”¹. Я надеюсь, что данная публикация привлечет внимание специалистов и откроет ряд дальнейших изданий К.Айдукевича на русском языке.

Статья “Картина мира и понятийный аппарат”, впервые опубликованная на немецком языке в журнале “Erkenntnis” (1934 г.) и включенная автором в первый том его избранных сочинений на польском языке², до сих пор остается самой известной философской работой Айдукевича. Именно в ней был сформулирован получивший широкую известность тезис так называемого “крайнего” или “радикального конвенционализма”, без обсуждения которого (заключаемого, как правило, напоминанием о том, что сам Айдукевич, убедившись в неправомерности и ошибочности этого тезиса, впоследствии отказался от него) не обходится ни одно изложение истории методологических идей нашего столетия. Это, на первый взгляд, удивительно. Мало ли сомнительных и просто ложных идей вышло из профессионального цеха философов, чтобы вскоре кануть в Лету?

Если же идея была раскритикована и отвергнута самим ее инициатором, то легко предположить, что ее место в корзине для бумаг, а вовсе не в эпицентре современных дискуссий. Но это предположение никуда не годится.

Чтобы показать это, остановимся на проблеме конвенционализма в философии и методологии науки. Эта проблема заняла центральное место в дебатах вокруг природы научного знания, научной рациональности, вокруг темы развития науки. Тема конвенций с большой силой звучит и в логико-эмпирицистских, и в “историчистских”, и в социально-психологических и социологических концепциях. Однако это разное звучание.

То, что в философии науки называют “обычным” конвенционализмом (так выражался К.Айдукевич), имеет следующий смысл: признание определенных научных суждений, в которых выражается то или иное решение эмпирических проблем, вытекает из ранее принятых терминологических соглашений. К самим этим соглашениям не применяются эмпирические критерии истинности; они обусловлены соображениями удобства, простоты, эстетического совершенства и др. Различные варианты конвенционализма различаются по тому, какие именно суждения или классы суждений полагаются продуктами соглашений, а также по тому, какими аргументами обосновывается принятие этих соглашений. Например, конвенционализм Р.Карнапа заключается в “принципе терпимости”, согласно которому можно строить любую логическую систему при обязательном соблюдении правил синтаксиса, при этом исходные понятия системы в принципе выбираются произвольно. Другую смысловую нагрузку имеет конвенционализм К.Поппера, который И.Лакатос назвал “методологическим фальсификационизмом”. Его суть в том, что конвенции охватывают некоторое множество “базисных предложений” опыта, фигурирующих как основания для опровержений эмпирических гипотез. “Методологический фальсификационист отдает себе отчет в том, что в “экспериментальную технику”, которой пользуется ученый, вовлечены подверженные ошибкам теории, “в свете которых” интерпретируются факты. И все же “применяя” эти теории, он рассматривает их в данном контексте не как теории, подлежащие проверке, а как непроблематичное исходное знание, которое мы принимаем (условно, на риск) как бесспорное на время проверки данной теории”³. “Радикальный конвенционализм”, предложенный Айдукевичем, основывался на постулировании возможности выбора понятийного аппарата, при помощи которого интерпретируются данные опыта и строится та или иная “картина мира”.

Различные варианты конвенционализма вытекают из различий между философско—гносеологическими позициями. Логико—эмпирицистский конвенционализм — следствие эмпирицистской трактовки оснований научного знания и вытекающей из нее версии рациональности научного познания. Конвенционализм К.Поплера — следствие его “активистской” (термин Лакатоса) теории познания, отводящей решающую роль творческой активности исследователя, выдвигающего смелые гипотезы и не опасаящегося, а приветствующего и поощряющего их опровержения. Конвенционализм Айдукевича — следствие его понимания роли семантических правил в процессах продуктивного применения языка.

При всех различиях есть нечто общее, что связывает эти варианты конвенционализма в одну группу. Это — признание того факта, что конвенции заключаются отнюдь не всеобщим согласием всех участников научных познавательных процессов, не каждым членом научного сообщества и не всем сообществом в целом, а теми учеными, которые образуют элитную группу, формируют мнения и принципы деятельности научных сообществ. Именно эти авторитеты формулируют те ценности, следование которым полагается целесообразным и потому рациональным. Таким образом, расходясь в определениях этих ценностей, конвенционалисты всех типов и видов согласны в том, что принятые конвенции, по сути, выступают как **определения рациональности**, а следование этим конвенциям — как доказательство лояльности ученых по отношению к законам разума.

Примем во внимание это важное обстоятельство, ибо оно слишком часто упускается из виду либо сознательно отрицается. Например, когда говорят, что научная рациональность является высшим и полномочным представителем Разума и Мышления, в этой симпатичной декларации сквозит изрядная толика мистики, перемешанной с гегелевским трансцендентализмом. Объективный Дух и Объективное Мышление якобы самовыражают себя в ментальных состояниях, мыслительных и практических актах людей, занимающихся научными исследованиями. Не будем заниматься критикой этого “якобы”, но заметим, что принципы и критерии рационального научного мышления не открываются, подобно тому как Колумб открыл для европейцев несомненно существовавшую до этого Америку, а вырабатываются, конструируются в творческой интеллектуальной лаборатории науки. Конвенции — это проекты рациональности, как правило, сопровождаемые аргументами в их обоснование и защиту. Теория научной рациональности (как часть теории познания) помимо прочего должна выяснять как и почему эти аргументы

становятся убедительными и решающими для того, чтобы проекты были приняты научными сообществами, стали основами присущих последним стилям мышления. Логическая корректность, практическая применимость и эффективность, фактическая адекватность могут стать при этом в один ряд с факторами социального или социально—психологического плана: наличием или отсутствием конкурирующих проектов, поддерживаемых авторитетными лидерами научных школ, основателями научных направлений, глубиной и прочностью культурных и мыслительных традиций данного научного сообщества, его связью с “культурным контекстом” времени и т.д. Характерно, что названные факторы крайне редко явно фигурируют в самих проектах научной рациональности. Как правило, эти проекты конструируются именно так, чтобы в них не было и намека на действие социальных и социально—психологических мотивов их принятия. Напротив, логико—методологическая аргументация всячески выдвигается на первый план, она—то и оказывается прежде всего в поле зрения. История различных вариантов методологического конвенционализма свидетельствует именно об этом.

Логико—эмпирицистская трактовка рациональности научного познания была подвергнута критике в “Логике исследования” К. Поппера, опубликованной практически одновременно с работами Айдукевича. “Методологический фальсификационизм” в споре с логическим эмпиризмом акцентировал проблему рациональности научно—исследовательской деятельности, с самого начала признав бесперспективными попытки решения этой проблемы на почве анализа одних только формальных структур языка науки. Развивая идеи П. Дюгема и А. Пуанкаре, К. Поппер и его последователи использовали идею конвенции для усиления концепции роста знания как непрерывной замены опровергнутых новыми гипотезами. Однако с подобной концепцией плохо согласуется представление о концептуальных системах как об истинных (вероятных) картинах реальности: если система опровергается опытом, она не может быть истинной. Но пока она не опровергнута, ученые работают с ней как с истинной, т.е. “ставят” на нее в “научной игре”. То, что опровергнутые теории приходится признавать ложными, нимало не мешает применению их в этой игре, ведь “истинные следствия” могут вытекать и из ложных допущений. Однако нельзя на этом основании заключить, что конвенциональные допущения вообще не имеют отношения к истине и ложности, т.е. являются “фикциями”, лишь инструментами для успешных предсказаний. Поэтому “философски корректным вариантом конвенционализма” И. Лакатос назвал поппе-

ровскую теорию “verissimilitude”, согласно которой непровергнутые гипотезы могут рассматриваться с точки зрения их истинного содержания, правдоподобности и подтверждения (подкрепления, corroboration). “Инструменталистами” же он называл конвенционалистов, “которым не хватило логического образования для того, чтобы понять, что одни суждения могут быть истинными, не будучи доказанными, а другие — ложными, имея истинные следствия, и что существуют также такие суждения, которые одновременно являются ложными и приблизительно истинными”⁴.

Позиция Поппера и его сторонников была все же двойственной. Они пытались сохранить преимущества, которые давал конвенционализм при объяснении механизмов роста научного знания, и вместе с тем ни в коем случае не соглашались оборвать связи, соединяющие “научные конвенции” с реальностью, относительно которой эти конвенции принимаются. С этой задачей не вполне справлялся “методологический фальсификационизм”, главный недостаток которого, по мнению Лакатоса, состоял в том, что он не находил согласующихся с реальной практикой науки критериев выбора научных теорий, работающих в режиме конвенционально принятых гипотез, и плохо объяснял тот факт, что опровергнутые гипотезы зачастую не отбрасываются (в соответствии с прямолинейным умозаключением *modus tollens*), а модифицируются и приспособляются к изменяющимся условиям эмпирической критики и конкуренции с соперничающими теориями. Классик методологического конвенционализма П.Дюгем полагал в качестве таких критериев суждения “здравого смысла” (*bon sens*), но последнее понятие не имело четкого методологического содержания и допускало слишком широкие трактовки; это обстоятельство было использовано П.Фейерабендом, предоставившем “здравому смыслу” столь широкие полномочия, что это вообще выводило проблему выбора теории за пределы рациональности как именно научной рациональности, т.е. ликвидировало все барьеры между наукой и не-наукой. Лакатос попытался преобразовать дюгемовский “*bon sens*” в систему требований “утонченного фальсификационизма”, составившего методологию научно-исследовательских программ”. В этой концепции конвенционализм приобретает жесткую опору в виде эмпирически ориентированных правил рационального поведения ученого в исследовательской ситуации: он поступает рационально, если его деятельность направлена на повышение эмпирического содержания теории, благодаря чему исследовательские программы либо прогрессируют (предсказывают все более широкий круг фактов, умножают продуктивные объ-

яснительные схемы), либо регрессируют (занимаются постоянным самооправданием, дают запоздалые объяснения фактов или случайных открытий, либо только объясняют факты, предсказанные другой, конкурирующей программой) и уступают место более жизнеспособным конкурентам.

Лакатос называл свою методологию “весьма радикальным вариантом конвенционализма”⁵ и видел необходимость постулирования “внеметодологического” индуктивного принципа для того, чтобы связать “научную игру” в принятие и отбрасывание научных суждений и теорий с “правдоподобием”, т.е. фактически — связать теорию о реальности с самой реальностью. Только такой принцип, писал он, “может превратить науку из простой игры — в эпистемологически рациональную деятельность, а множество свободных скептических игр, разыгрываемых для интеллектуальной забавы: в нечто более серьезное — в подверженное ошибкам отважное приближение к истинной картине мира”⁶. Таким образом, рационализм ориентировался на установление тесной взаимосвязи с эмпиризмом; последний выступал как необходимое оправдание и даже обоснование первого. В свою очередь, рационализм придавал эмпиризму прочную репутацию разумной деятельности, предохраняя от нелепостей и крайностей субъективизма и скептицизма.

Эта задача не была вполне решена ни “критическим рационализмом”, ни раскритикованным им “логическим эмпиризмом”. Та же задача стояла и перед К.Айдукевичем. Он также пытался соединить рациональность с эмпиризмом, избегая при этом крайностей логического эмпиризма. Средством для этого была избрана логическая семантика. В ряде статей К.Айдукевич предложил оригинальную семантическую концепцию языка и значения языковых выражений, которая легла в основание его логико—методологической концепции структуры и развития научного знания⁷.

В соответствии с этой концепцией научная теория могла быть в принципе отождествлена с замкнутой в логико—семантическом отношении языковой системой. Исходные (неопределяемые) понятия такой системы, а также принимаемые правила логического вывода и эмпирической интерпретации научных предложений основаны на конвенциях; прочие термины определяются через исходные; значения терминов определяются правилами употребления выражений данного языка; нарушение этих правил означает, что с выражениями языка связывается какое—то иное значение и, следовательно, осуществляется переход к иному языку.

Замкнутые и логически согласованные языковые системы, по Айдукевичу, характеризуются следующими особенностями: (а) они не содержат терминов, значение которых не зависит от системы в целом; (б) включение новых терминов изменяет значение всех терминов системы и всякий раз ставит под вопрос ее логическую согласованность. Системы (Айдукевич называет их “понятийными аппаратами”, *Begriffsansapparatur*; впоследствии в англоязычной методологической литературе был принят термин *framework*, который стали переводить как “концептуальный каркас”) являются взаимонепереводимыми, если по крайней мере одно выражение данной системы не имеет своего перевода в другой. За много лет до Т.Куна и П.Фейерабенда он использовал пример ньютоновской механики как такого “понятийного аппарата”, в котором некоторые “индуктивные предложения” доньютоновской физики приобрели значение аксиом, а термины, фигурирующие в них, — значения, определяемые аксиоматическими правилами значения.

“Радикальный конвенционализм” означал прежде всего решительный разрыв с догмой “логического эмпиризма”, согласно которой данные опыта являются последней и неоспоримой инстанцией принятия тех или иных научных суждений. К.Айдукевич обращает внимание на первостепенную важность того обстоятельства, что научная работа протекает всегда в рамках “понятийного аппарата” и, следовательно, ученые оперируют не фактами “самими—по—себе”, а фактуальными предложениями, интерпретированными на основании этого аппарата. Поэтому одни и те же опытные данные могут интерпретироваться по-разному в различных “концептуальных каркасах”. Поскольку же “концептуальные каркасы”, если они замкнуты, взаимонепереводимы, решающее значение для принятия тех или иных научных суждений имеет не опыт, а выбор интерпретативных систем.

Очевидно, что это действительно “радикальное” изменение взгляда на научную рациональность. Методолог ставит перед субъектом научного исследования проблему: каковы рациональные основания выбора того или иного “понятийного аппарата”, если опыт не может считаться непредвзятым судьей, а всегда “ангажирован”, истолкован теорией? По сути, уже в постановке этой проблемы заключено требование к эмпиризму перестать ссылаться на догму и приспособиться к изменившемуся взгляду на характер научно—исследовательских процессов. Это в точности та же проблемная ситуация, в которой находилась и методологическая программа К.Поппера. Однако Поппер с самого начала подозрительно отнесся к понятию “замкнутого” концептуального каркаса, а впоследствии назвал его “ми-

фом”. приравнивающим положение ученого к положению заключенного, не имеющего легальной возможности покинуть тюремную клетку своей интерпретирующей опытные данные системы.

Поэтому—то Поппер, оставаясь убежденным сторонником рационального эмпиризма, отводил место конвенциям прежде всего в сфере “базисных” опытных предложений. Он сразу же осознал принципиальную трудность, связанную с попытками перенести “конвенциональный акцент” в сферу выбора теории. Если выбор теории не зависит от решающего приговора опытных данных, а именно это приходилось признать, если последовательно провести отождествление теории с “замкнутой” понятийной системой, то процедуры фальсификации теряют практически все свое значение, научное познание превращается в интеллектуальную игру по правилам, которые всякий игрок вправе менять по своему выбору. От рациональной Большой Науки остается одно наименование, в цитадель рациональности проникает произвол и анархия, иррационализм торжествует победу.

“Радикальный конвенционализм” Айдукевича неизбежно вел к выводу, что процедуры смены “понятийных аппаратов” и, следовательно, “картин мира”, поскольку они имеют конвенциональный характер, не могут быть реконструированы в терминах логики. “Нетрудно увидеть в радикальном конвенционализме продолжение посткантианской конвенционалистской традиции, а также предвосхищение (почти на три десятилетия) многих современных модных концепций философии науки”, — замечает Е.Гедимин, имея в виду прежде всего концепции Т.Куна и П.Фейерабенда.⁸ Более того, сама логика ставилась в ряд “языковых каркасов”, принятие и отвержение которых также следовало тезису “радикального конвенционализма”, из чего вытекала концепция “логического плюрализма”, ставшая в дальнейшем предметом напряженной дискуссии. Оставляя в стороне эту проблему, заметим, что перемещение проблемы рационального выбора теории за границы логической реконструкции вызывал (и продолжает вызывать) шок у методологов: слишком долгое время рациональность теснейшим образом связывалась с логикой, чтобы, осознав свою даже относительную свободу от последней, легко пережить это.

Но если рациональность выбора “картины мира” не сводится к логическим средствам реконструкции, то она должна описываться какими—то иными средствами, по крайней мере не менее убедительными. Итак, “радикальный конвенционализм” фактически означал

поиск теории рациональности научного познания, альтернативной теориям, которые в то время могли считаться традиционными.

Осознавал ли это сам Айдукевич? Не только осознавал, но и предупреждал о трудностях, с какими рискует столкнуться методологическая мысль, став на путь этого поиска. Согласно его концепции ученый всегда как бы находится вне своей “картины мира” или “понятийного аппарата” и потому, руководствуясь теми или иными рациональными конвенциями, может оставлять одну и принимать другую языковую систему, а иногда и возвращаться к прежней. В принципе можно даже одновременно пользоваться различными теориями для решения разных задач. При этом только нельзя забывать, что эти теории “взаимонепереводимы” и каждая хороша или плоха по—своему. Другими словами, рациональность такого ученого всегда “выше” используемых им конвенций. Этого уже нельзя сказать, став на точку зрения, например, Т.Куна: в концепции последнего рациональность ученого целиком и полностью определена “парадигмой” (вне парадигмы рациональность совпадает со здравым смыслом, но к принятию научных решений это имеет лишь слабое отношение). В этом отличие семантического подхода к проблемам рациональности К.Айдукевича и историко—научного подхода Т.Куна. Является ли это отличие принципиальным?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, до каких пределов может быть раздвинута сфера рациональности, какие критерии, помимо логических, могут быть допущены в нее. Надо сказать, что по сравнению с “историческими направлениями” в философии и методологии науки 60—70 годов, К.Айдукевич с несравненно большим трудом расставался с надеждами на полную логическую реконструируемость процесса смены научных теорий в ходе исторического развития науки. Прекрасно сознавая опасность, заключенную в распахивании ворот рационалистической крепости перед любыми мотивациями познавательных действий, он вряд ли принял бы анархические идеи, впоследствии пропагандировавшиеся П.Фейерабендом, который, отталкиваясь от семантической “несоизмеримости” фундаментальных научных теорий, безоглядно шел дальше и постулировал свободу рациональности вплоть до ее практически полного слияния с любыми спонтанными актами творчества. В конечном счете, понимал Айдукевич, это неизбежно ставит под сомнение такие фундаментальные ценности науки как объективность и истинность научного знания. Отказываться от таких ценностей ученик и последователь К.Твардовского, конечно, не хотел. Выход из затруднения он усматривал в необходимости прояснения точного смысла

этих ценностей не без основания полагая, что такое прояснение способно устранить массу предрассудков и кажущихся гносеологических парадоксов.

Прежде всего Айдукевич попытался определить ряд критериев, с помощью которых методолог, реконструирующий процессы эволюции научного знания (в том числе процессы выбора научных теорий и причины смены фундаментальных “картин мира”), мог бы отыскать в этих процессах их рациональный смысл и выразить этот смысл в строгих методологических понятиях. Иными словами, он пытался сформулировать рациональные основания *прагматики* науки и научного познания (одна из последних крупных монографий Айдукевича имеет название “Прагматическая логика”). Некоторые из этих критериев сформулированы в статье “Картина мира и понятийный аппарат”. К ним относятся: повышение уровня логической согласованности понятийного аппарата, в частности способности последнего раскрывать и ликвидировать свои логические дефекты, прежде всего, конечно, противоречия; достижение теорией большей независимости от опытных данных при решении внутренних концептуальных проблем (впоследствии И.Лакатос назвал это “позитивной эвристикой”, то есть способностью выводить такие следствия из принятых положений, которые не только согласуются с опытными данными, но даже “лучше” последних способны исправлять ошибочно полученные результаты опыта или неправильные интерпретации последних); внутреннее совершенствование понятийного аппарата, позволяющее уменьшать количество “аномалий” (столкновений с опытными результатами) за счет дополнительных конвенций или семантических правил; наконец, то, что Айдукевич назвал “повышением эмпирической чувствительности” понятийного аппарата (“мы отдаем первенство таким понятийным аппаратам, которые игнорируют как можно меньше опытных данных и которые на различные опытные данные реагируют различным образом разными способами”); нетрудно показать, что в этом требовании заключен зародыш той мысли, которая выражена И.Лакатосом в его критерии “непрерывного эмпирического роста науки”⁹.

Сформулированные критерии (Айдукевич специально отмечал, что они далеко не исчерпывают “эволюционные тенденции” науки, ее прогрессирующую рациональность), как видим, не являются логическими, а представляют собой совокупность методологических требований, смысл которых не может быть раскрыт некоторым априорным “определением” универсальной или “конечной” цели, к которой якобы стремится научное познание. Методологическая тео-

рия не может исходить из априоризма, она занимается определением реальных господствующих тенденций научного познания, то есть обращается к ее истории. Этот вывод Айдукевича непосредственно перекликается с известным высказыванием И.Лакатоса о том, что история науки является пробным камнем для ее рациональных реконструкций, то есть для методологических концепций в роли теории научной рациональности.

Как раз в этом моменте Айдукевич подходил к той же развилке, у которой остановился Лакатос. Методология науки должна учиться рациональности у истории науки. Но ведь нужно еще определить, чему именно следует учиться, а что надлежит считать “капризами” и “проказами” истории науки, “внешними”, посторонними факторами ее движения. Критерии рациональности порождаются этим движением, но и само движение в свою очередь порождается именно рациональностью, а не чем—то иным, имеющим к научному познанию лишь опосредованное отношение (вроде экономических или политических условий, в которых работают научные сообщества). Поэтому в поисках более широкой и гибкой теории научной рациональности не следует заходить слишком далеко, туда, откуда уже не будет возврата в научный рационализм. Но как знать, где именно следует остановиться?

Уместно напомнить, что одновременно с “радикальным конвенционализмом” К.Айдукевича и “методологическим фальсификационизмом” К.Поппера разрабатывалась концепция научного познания как исторически и культурно обусловленной смены “стилей мышления”, автором которой был польский микробиолог и историк науки Л.Флек (1896—1961). Для этой концепции характерно стремление дальше пройти путь реформирования теории рациональности, чем позволяли эмпирико—рационалистические установки Львовско—Варшавской школы. Л.Флек стремился определить зависимости между социальными условиями возникновения и развития научного знания и содержанием самого знания, закономерностями его функционирования и изменения. Эту крайне непростую задачу он решал, маневрируя между неприемлемыми крайностями вульгарного социализма, с одной стороны, и интерналистского “имманентизма”, исходившего из прямолинейной идеи самодетерминации научного знания, с другой.

Вот как формулировал свою задачу сам Л.Флек: “Явление зависимости содержания науки от эпохи и среды, обнаруживаемое тем очевиднее, чем больший период развития науки мы рассматриваем и чем явственней различаются общественно—политические условия

нашего беспокойного времени, должно быть истолковано гносеологически. Оно должно быть понято так, чтобы стала явной его эвристическая ценность, а не скептическая интерпретация, чтобы оно могло стать началом позитивных исследований”¹⁰. Выполнение этого замысла требовало понятий, выражающих механизм, при помощи которого социальный контекст науки преломляется в когнитивных процессах и наполняет их определенным содержанием.

Таковыми понятиями для Флека были “стиль мышления” и “мыслительный коллектив”. Собственно, это не разные понятия, а две стороны одного и того же явления, подобно тому, как понятие “парадигмы” сопряжено с понятием “научного сообщества” в терминологии Т. Куна. Стиль мышления одновременно является условием и следствием коллективного характера научно—познавательных процессов. “Само понятие мышления, — писал Флек, — имеет гносеологический смысл только при указании на “мыслительный коллектив”, в рамках которого происходит это мышление”¹¹.

Гносеологическое отношение “субъект—объект”, по замыслу Флека, должно быть заменено более сложной связью “субъект—мыслительный коллектив—объект”, в котором главную роль играет второй компонент: именно “мыслительный коллектив” детерминирует характер мыслительной деятельности субъекта—индивида. Отсюда вывод, радикально меняющий курс эпистемологического анализа: он направляется прежде всего на характерные особенности “мыслительных коллективов” и, следовательно, эпистемология становится “сравнительно—исторической дисциплиной”, в которой на первый план выходят социологические и историко—научные параметры научно—исследовательских процессов.

Пример эпистемологического исследования, уже по своей форме значительно отличавшегося от логико—методологических разработок “логических позитивистов”, большинства “критических рационалистов” и философов Львовско—Варшавской школы, дан Флеком в его монографии “Возникновение и развитие научного факта” (1935), где история открытия А. фон Вассерманом и его сотрудниками серодиагностической реакции на сифилис рассматривается как свидетельство того, что содержание научных фактов определяется интерпретацией, вытекающей из принятого учеными стиля мышления. Господство стиля мышления, то стимулирующее и вместе с тем ограничивающее спонтанные мыслительные процессы воздействие, какое он оказывает на решения ученых, их предпочтения и способы истолкования опытных данных, зависят не только, а часто и не столько от концептуальных или методологических особенностей той

или иной теории, того или иного метода, или другого “когнитивного фактора”, сколько от общего культурного контекста в котором работает “мыслительный коллектив”, от важности социально значимой задачи, выполняемой им, от степени готовности к принятию научных идей, обусловленной духовными запросами данной культуры, от предшествующей интеллектуальной истории в данной и смежных с нею областях знания и пр.

Хотя Флек не называл себя конвенционалистом, в его концепции понятие конвенции играет самую важную роль. Каркас “стиля мышления” как раз и составляют конвенции о значении понятий, о их соотносительной ценности, о критериях приемлемости или неприемлемости суждений, теорий, методов и интерпретаций. Иначе говоря, рациональность научного исследования находится под непосредственным и тираническим контролем стиля мышления; изменение стиля раньше всего рассматривается как измена рациональности и сопряжено с огромными психологическими перегрузками для тех, кто берет на себя эту задачу.

Поставив в зависимость от стиля мышления все содержание и способы оценки научного знания, Флек пришел к “сравнительной эпистемологии”, которая должна заниматься историей формирования и способами функционирования стилей мышления. И эта история должна охватывать отнюдь не только эволюцию понятий или теорий в ее, так сказать, чисто “когнитивном аспекте”; в нее входит также история “прото-идей”, порождаемых культурным контекстом, переплетения фантазий, плодов “продуктивного воображения”; эпистемолог должен выяснять факторы социального и социально-психологического санкционирования идей, а не только их логического или эмпирического обоснования. Широта этой задачи оказывается непомерной, идея рационального научного мышления — размытой, а сама “сравнительная эпистемология” вынуждена прибегать к таким самоограничениям, которые защитили бы ее от обвинений в релятивизме. И надо сказать, поиски этих самоограничений опять-таки ведут в том направлении, от которого Флек пытался уйти — к бесспорным и неизменным основаниям рациональности, которые все же должны существовать независимо от исторических и культурных перипетий науки.

У меня нет сведений о том, был ли знаком К. Айдукевич с эпистемологическими опытами Л. Флека. Последнее маловероятно, если учесть маргинальный характер философского творчества львовского врача и микробиолога, его оторванность от профессиональной философской среды. Тем более характерна перекличка идей обоих фи-

лософов. Трудности, оказавшиеся на пути реформаторского замысла Л. Флека, несомненно, были продуманы и предвидены К. Айдукевичем, который именно поэтому был так осторожен и немногословен в определении перспектив “радикального конвенционализма”. Так же, как четверть века спустя И. Лакатос, он предпочел остановиться на полпути в ревизии теории научной рациональности, не рискуя оставить надежную почву логической семантики и методологической прагматики ради скользких троп социологического, социального—психологического или историко—научного подходов к этой теории.

Причины, по которым К. Айдукевич был вынужден отказаться от “радикального конвенционализма”, проистекали из внутреннего развития той же логической семантики. Прежде всего он, опираясь на собственные исследования, а также учитывая знаменитые результаты А. Тарского, связанные с так называемым семантическим определением понятия “истины” в формализованных языках, пришел к выводу, что понятие “замкнутого” и “согласованного” языка является слишком сильной и потому реально неприменимой в методологии абстракцией. В статье “Картина мира и понятийный аппарат” он еще предполагал, что эта абстрактность сродни обычно применяющимся в науке идеализациям, которые только в приближении согласуются с действительностью, но тем не менее являются незаменимыми инструментами теоретического анализа. Однако А. Тарский убедил К. Айдукевича, что “идеализация” замкнутого и согласованного языка страдает чисто логическими дефектами. Например, она предполагает, что если два выражения одного и того же языка семантически определены одним и тем же правилом значения, то денотаты этих выражений идентичны. Однако даже в простом языке со структурой первопорядкового исчисления предикатов с равенством можно указать на выражения, определяемые одним и тем же правилом значения, но имеющие различные денотаты. Из этого следовало, что совокупность правил значения данного языка, хотя и необходима, но недостаточна для определения полной языковой матрицы. Разумеется, логик такого класса, как Айдукевич, мог бы попытаться переопределить понятие замкнутого и согласованного языка так, чтобы подобные трудности преодолевались строго формальным путем, тем более, что он придавал особое значение логико—семантическим исследованиям именно замкнутых и согласованных, а не “открытых” языков, не свободных от парадоксов. Но после работ Тарского, укрепивших надежду на строгое, логико—методологически корректное применение понятия “истины” (именно слабость этой надежды и толкала методологов на такие “обходные” маневры, ко-

торые позволяли обойтись без существенного употребления этого понятия), Айдукевич заколебался относительно важного для концепции “радикального конвенционализма” вывода о жесткой связи понятия “истины” с выбором “понятийного аппарата”. Если раньше он полагал, что вопросы истинности научных суждений имеют смысл только при указании понятийной системы (“картины мира”), к которой эти суждения принадлежат, то под влиянием Тарского он вернулся к надеждам на универсализацию определений истины, не связывая эти определения с конкретными понятийными системами. Это лишало “радикальный конвенционализм” логику—семантической опоры. Напомним, что логику—семантические результаты А.Тарского оказали сильнейшее влияние и на взгляды К.Поппера, который отказался от прямолинейного истолкования принципа фальсификации как регулятива рационального поведения ученого и сформулировал концепцию увеличения истинностного содержания научных теорий в процессах верификации, объяснявшую относительную устойчивость теорий и стремление ученых к опытным подтверждениям последних. Это означало усиление эмпирических моментов конвенционализма в “критическом рационализме” и выражало тенденцию, аналогичную той, которая имела место во взглядах Айдукевича.

В послевоенный период особенно заметно усиление тяги Айдукевича к эмпиризму и разочарование в радикальных проектах реформы теории рациональности. Можно только догадываться (в текстах Айдукевича нет на то прямых указаний), какое влияние на изменение его философских предпочтений оказала трудная история рационализма и рационалистического мировоззрения середины XX века. Я думаю, что усиление эмпирических ориентаций философа произошло не только по чисто логическим или логику—методологическим основаниям; вероятно, это была ответная реакция на усиление насыщенных иррационализмом философских течений 40—50 гг., а также на “диалектико—материалистические” спекуляции вокруг науки и научного знания. Во всяком случае в эти годы происходит эволюция взглядов Айдукевича от “радикального конвенционализма” к “радикальному эмпиризму”, то есть к попытке вывести за пределы методологического рассмотрения любые реликты априоризма. В это время Айдукевич формулирует и обосновывает тезис об эмпирической интерпретируемости логики и ее законов; если в 30—е годы он не разделял взглядов Я.Лукасевича, чьи исследования многозначных логик вели к выводу, что выбор логической системы может зависеть от предметной области, к которой относятся высказы-

вания научной дисциплины, то в 40–х годах он уже сочувственно относился к этим идеям, хотя сам не занимался неклассическими логиками; его работы по логической семантике этих лет связаны с анализом языка, в котором действуют только эмпирические правила значения и нет аксиоматических правил значения.

Отход от “радикального конвенционализма” не означал, что проблема конвенционализма вообще перестала интересовать Айдукевича в последние годы его жизни. Напротив, “следы радикального конвенционализма или просто конвенционализма можно найти во всех его позднейших работах”¹². Иначе и не могло быть, слишком важное значение идея конвенций в науке имеет для решения основных вопросов теории познания вообще и теории рациональности, в частности, и это значение вполне осознавалось выдающимся польским мыслителем.

Последние годы жизни Айдукевича пришлось как раз на тот период, когда дискуссии о конвенциях в науке вспыхнули с новой силой, благодаря провоцирующим воздействиям Т.Куна и П.Фейерабенда. Вряд ли тяжело больной К.Айдукевич (он умер в 1963 г.) успел познакомиться с книгой Т.Куна “Структура научных революций” (1962) и программной статьей П.Фейерабенда “Объяснение, редукция и эмпиризм” (1962). Можно только предположить, какую позицию занял бы убежденный рационалист в этих дискуссиях. Скорее всего, он не разделил бы взгляды радикальных реформаторов гносеологии начала 60–х гг. Возможно, он стал бы на сторону тех, кто вместе с Лакатосом и Поппером обвинили Т.Куна и его сторонников в иррационализме. Вряд ли он мог бы принять “анархическую эпистемологию” Фейерабенда, особенно если учесть иронически-отрицательное отношение последнего к “семантической болтовне”, как тот называл гносеологические исследования, опирающиеся на разработку проблем теории значения¹³. Во всяком случае остается только сожалеть, что судьба не позволила одному из крупнейших философов нашего века участвовать в дискуссии, затрагивающей принципиальные проблемы, которым он посвятил свое творчество.

¹ *Woleński J.* Filozoficzna szkoła lwówско-warszawska. W-wa, 1985. S. 207.

² *Ajdukiewicz K.* Obraz świata i aparaturna pojęciowa // *Język i poznanie*. Т. 1. W-wa, 1960. S. 175–195.

³ *Лакатос И.* Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С 35–36.

⁴ *Лакатос И.* История науки и ее рациональные реконструкции // *Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки*. М., 1978. С. 210.

-
- ⁵ *Лакатос И.* История науки и ее рациональные реконструкции. С. 222.
- ⁶ Там же. С. 222–223.
- ⁷ *Ajdukiewicz K.* Sprache und Sinn // Erkenntnis. 1934, Bd. 4. S. 100–138; O znaczeniu wyrażen // Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie (12.11.1904–12.11.1929). Lwów, 1931. S. 31–77; Die syntaktische Konnexität // Studia Philosophica. 1935. T. 1. S. 1–27.
- ⁸ *Giedymin J.* Science and Convention: Essays in Henri Poincaré's Philosophy of Science and the Conventional Tradition. Oxford, 1982. P. 110.
- ⁹ *Лакатос И.* Фальсификация. С. 150.
- ¹⁰ *Fleck L.* Powstanie i rozwój faktu naukowego. Lublin, 1986. S. 184.
- ¹¹ Ibid. S. 72.
- ¹² *Woleński J.* Op. cit. S. 199.
- ¹³ *Фейерабенд П.* Ответ на критику // Структура и развитие науки. С. 429.